

9 мая стало первым выходным днем

О работе на «академическом заводе-лаборатории» вспоминает академик Игорь Юрьевич Коропачинский

На фронт я не попал, поскольку, будучи закончил пятый класс в 20-й школе Красноярска. В день, когда началась война, мы выезжали в пионерские лагеря. Впрочем, не выезжали, а выходили. Большая группа школьников, человек двести, прошла пешком 14 километров от города до лагерей ОСОАВИА-ХИМа (предшественника ДОСААФ и РОСТО). Пришли уставшие, нас покормили и уложили спать: тогда «мертвый час» считался полезным. А когда мы проснулись, то узнали, что началась война. И сразу было заявлено, что 600 советских самолетов полетели бомбить Берлин! Правда это или нет и, если правда, то вернулся ли назад хоть один самолет, я так и не узнал.

После этого в лагерях были созданы группы воензированной подготовки, и мы начали усиленно заниматься. Я попал в группу радистов-коротковолновиков, изучал азбуку Морзе и после полугода месяцев обучения даже получил квалификационное удостоверение, правда, с ограничением по скорости передачи. Затем я вернулся в школу, проучился еще год, закончил 6-й класс. Тут отца призывали в армию: ему было тогда уже около 50 лет. Он пришел на пункт сбора в городской парк. За столом сидели двое особистов и листали его личное дело. Один из них увидел, что отец, лейтенант запаса РККА, некогда закончил Санкт-Петербургский императорский университет, после чего был призван на Первую мировую войну. Особисты решили, что он был так или иначе связан с белым движением и призвали его не офицером — рядовым автоматчиком. Правда, из-за возраста его отправили не на фронт, а на охрану тыловых объектов в Забайкалье. Забегая вперед, скажу, что отца демобилизовали не в 1945-м году, а значительно позже, года через три-четыре. Вскоре забрали и маму: она в совершенстве знала немецкий язык и была призвана как переводчица. Правда, вскоре ее отпустили домой, где оставался я с девятилетней младшей сестрой.

И тут началась голодуха. Мама ежедневно получала 500 граммов хлеба по карточкам по норме служащей, нам с сестрой полагалось по 400, а кроме этого еды, по сути дела, и не было. Чтобы не протянуть ноги, я пошел работать на завод — после шестого класса, 14-летним пацаном... и сразу стал получать рабочую норму в 750 граммов хлеба. Первое время нас, самых младших, гоняли на подсобные работы. Приходилось, например, разгружать уголь. Стоя в открытом кузове грузовика — ни о какой технике безопасности тогда не помышляли — мы ехали за 12 километров от города до путей, на которых

стояли пультмановские вагоны. Каждый вагон — 60 тонн, на каждый — десять мальчишек и норматив: 2 часа 20 минут. Если больше — грозит статья за саботаж, такие были времена. Приходилось делать всё, даже могли копать.

Затем в армию призвали ребят 1925—26-го годов рождения... и вскоре на них пришли первые похороны. Я к этому времени получил профессию: стал токарем по металлу. Работал на фрезерных станках, поперечно-строгальных. Почему на разных? Потому что наш завод № 327 Наркомата электрослаботочной промышленности не выпускал серийную продукцию, а был заводом-лабораторией, тесно связанным с Академией наук. Достаточно сказать, что руководителем одной лаборатории был доктор технических наук профессор Богородицкий, лауреат Сталинской премии, главный инженер — профессор Спицын, тоже лауреат Сталинской премии.

Мне выдавали пакет чертежей, как правило, секретных, с указанием, сколько каких деталей к какому сроку изготовить. Если не успел — не уйдешь с завода, пока не выполнишь задания. Объявлялось так называемое казарменное положение: ночуй там, где работаешь. Часик вздремнул, потом голову под кран — и снова к станку. Мой ученик Вася Бузунов ухитрился сделать себе «спальное место» из снятого со стены фанерного транспаранта с надписью «Больше продукции — ближе Победа!» (кстати, Вася потом играл в сборной СССР по футболу). Могу сказать, что за все годы работы на заводе не было ни одного настоящего выходного дня. В конце каждой недели мы видели на заводской доске объявлений одну и ту же надпись: в связи с производственной необходимостью такой-то день считать рабочим.

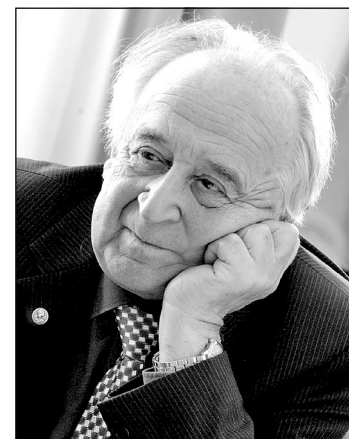
Я прекрасно помню 9 мая 1945 года — за все годы войны это был первый нерабочий день! Но все, не сговариваясь, собрались на заводе. Института на проспекте Мира, в самой старой части Красноярска. Случилось что-то вроде стихийного митинга. После этого все дружно пошли на главную площадь города — площадь Революции. Мне, как токаря, имевшему допуск к спирту, доверили бидончик с этой жидкостью. Всех угощали, нас тоже угощали. Такого праздника не было ни до, ни после. Об этом бесполозно рассказывать — только увидеть и почувствовать. Все обнимались, целовались... Была удивительная атмосфера радости и братства.

Что мы выпускали? Продукция была зашифрована. Изделия назывались условно: «призма», «шар», «СПУ», «колба». Уже после

войны мне рассказали, что это было такое. С чужих, правда, слов, сообщу, что «призма» входила в комплект для размагничивания кораблей, этой темой в войну занимался академик Александров, впоследствии возглавивший Академию наук СССР. «Колба» оказалась частью радиомаяка для дальнебомбардировочной авиации, СПУ — самолетным переговорным устройством. А для чего служил «шар», мне так и не довелось узнать. По мере того как ребята постарше уходили на фронт, я переходил на более сложные работы, повышал квалификацию. В 16 лет я уже входил, можно сказать, в элиту токарей нашего завода. Помню такое изделие, как «коробки Нортон» — это второй класс точности, очень тонкая работа... Поэтому мы поневоле становились универсалами, учились работать на станках разного типа, наших и импортных. Достаточно сказать, что когда к нам приходили на практику студенты из вузов, то мы, пацаны, их обучали. А вскоре после Победы нас наградили медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

За перевыполнение планов я попал в категорию стахановцев и получил дополнительно 100 граммов хлеба. Я стал себе позволять обедать с хлебом, а обед был обычно «из трех блюд». Первое называлось рассольником и представляло собой кипяток с несколькими кусочками зеленого соленого помидора и ложкой рыжикового (не из грибов рыжиков, а из льняного сырья) масла, горького, как хина. На второе давали картошку в мундире: я не могу понять, почему картошка всегда была мороженой и вонючей. А на десерт был чай по такой рецептуре: кусок сахара сжигали и добавляли в котел, отчего напиток приобретал коричневый цвет и характерный запах. Хлеб тоже был малосъедобный: туда добавляли все, что угодно, вплоть до лишайников. Мы, кстати, считали себя счастливой семьей. Моя мать работала в артели «Металлист», где варила рабочим на обед картошку. На дне котла оставался мутный осадок с мелкими кусочками картофеля. Мама просила поваров слить ей этот осадок и мы с нетерпением ждали, когда она вернется с работы с бидончиком, нас подкормить.

В городе, замечу, была страшная обстановка из-за разгула бандитизма. И милиция была ослаблена, и беглых из многочисленных лагерей, и дезертиров было полно... Уличное освещение не было. Когда мимо нас проходили, эшелон за эшелон, поехали на войну с Японией, то мы, не боясь уголовной статьи, ходили к путям и выменивали у солдат трофейные «Парабеллумы», с ними



казалось спокойнее. Всю войну, как я уже сказал, не было выходных, но я занимался стрельбой и входил в сборную команду Сталинского района Красноярска. Подготовка к соревнованиям была не столько спортивной, сколько военной. Мы стреляли из боевых карабинов, из снайперских винтовок, из пулемета Горюнова и пистолета ТТ, из автомата ППШ. У меня были хорошие снайперские результаты: за 600 метров попадал в мишень «пулеметное гнездо» размером с кусочек бумаги А5. Очевидно, что нас готовили для фронта: трудно было предугадать, когда завершится война, и новые призывники должны были быть подготовленными. Меня, кстати, никто и не спрашивал, хочу я стрелять или нет — просто сказали, что включен в стрелковую команду.

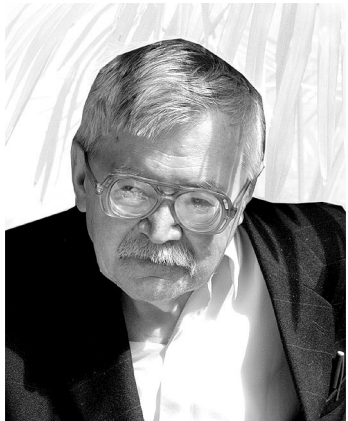
Когда война стала явно подходить к концу, я стал подумывать о продолжении образования. Ведь один год я вообще никак не учился, а потом ходил в школу рабочей молодежи. Но что это была за школа? Отработав 12-часовую смену, по темному городу, усталый и голодный, в засаленной телогрейке идешь в помещение, где нет даже электричества — и при свете копилки пытаешься чему-то научиться... Так я прошел 7-й и 8-й классы, и на этом мое школьное образование завершилось. Когда война закончилась, я поступил в машиностроительный техникум. Поскольку я пришел туда с оборонного завода, то в моей трудовой книжке была запись «уволен на учебу» и годы техникума засчитывались в производственный стаж: этим летом он будет насчитывать уже 68 лет.

Оканчивая первый курс техникума, я решил заниматься изучением природы — машинного масла нанюхался вдосталь. В течение одного лета заочно сдал экзамены за этот курс, за 9-й и 10-й классы средней школы и приемные в институт. Так я стал студентом Сибирского лесотехнического института, который закончил в 1951 году. Там я остался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию и далее занимался только наукой.

Подготовил А. Соболевский, ЦОС СО РАН

«Я помню страшные бомбардировки Ленинграда...»

Академик Юрий Григорьевич Решетняк ребёнком пережил блокаду Ленинграда, награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».



Я очень смущен, что меня называют ветераном. Когда началась война, я закончил 4-й класс средней школы, в 1945 году мне исполнилось только 15 лет.

В 1941 году я с родителями жил на окраине Ленинграда, за Невской заставой, это место сейчас называется проспектом Обуховской обороны. Школа, где я учился, до сих пор функционирует, там теперь учатся матросы речного флота. Когда после войны мы вернулись в Ленинград, я пошел посмотреть на свою школу и увидел ребят в форме...

Наш район был застроен деревянными домиками, на пустырях были огороды, мы выращивали там картошечку, которая нас немного поддерживала в блокадное время. Мы даже делились ею со своими родственниками.

Я хорошо помню первые страшные бомбардировки Ленинграда, первый налет, когда немцы сожгли Бадаевские продовольственные склады. Это была жуткая картина: выстрелы зенитных орудий слились в один сплошной рев, а дым от пожаров поднялся и загородил половину неба. Как пишут сей-

час, продовольствия на складах было всего на несколько дней — это была, конечно, потеря, но не совсем уж катастрофическая.

Паёк, который мы получали, всё время уменьшался и уменьшался. Сначала в него входили хоть какие-то продукты, например, чечевица (я помню вкус чечевичной похлебки), потом мы стали получать только хлеб. Люди начали умирать от голода. Умерли две маленькие девочки, которые жили в нашем доме. Умер мамин брат, который до войны жил в поселке Саблино под Ленинградом, но, когда туда пришли немцы, он переехал в город. Мне было неполных 12 лет. Каюсь, конечно, но мои родители старались дату, пока я считался ребенком, оттянуть как можно дальше, поскольку на детскую карточку выдавали 250 граммов хлеба, а на взрослую — 125, и, как только я перерос категорию ребенка, паёк уменьшался вдвое.

Помню бомбардировки и артобстрелы... Местность, где мы жили, немцы часто обстреливали. Сначала мы прятались — у нас возле дома была щель вырыта, всем жителям было дано указание сделать такие укрытия вместо бомбоубежищ, но потом перестали прятаться, а просто слушали: если несильно дрожало стекло, значит бомбят где-то далеко и можно продолжать заниматься своими делами, а если близко — бежали прятаться. Как-то ночью немцы высыпали на наш район целую кучу зажигательных бомб. Эти маленькие бомбочки потушить было чрезвычайно трудно, для этого надо было высыпать на каждую по ведру песка. На наш дом, к счастью, они не попали, а вот на большой барак на противоположной стороне улицы упала бомба, и я видел, как он горел ярким пламенем. Подъезжали пожарные машины, но потушить его не удалось. Еще я помню, как ночное небо освещали прожектора, как кто-то пуск ракеты. Может быть, это делали не-

мецкие агенты или люди, подкупленные агентами, а, может, пускали и наши, чтобы напугать немцев на ложные цели. Я в военном деле не разбираюсь, но допускаю, что такая тактика в военное время возможна.

В начале января 1942 года начала действовать «Дорога жизни», паёк постепенно стали прибавлять, школы начали работать. У нас в школе даже елка была с Дедом Морозом, который нам спел «В лесу родилась елочка...». Нам дали подарки, пакетики с продовольствием, и я свой подарок целым и невредимым донес домой, выдержав испытание... Проучился я меньше месяца, а потом начали думать об эвакуации. Сначала эвакуировались мы с мамой, отец — через несколько месяцев. Он по инвалидности был невоеннообязанным.

Мы нашли эшелон, который шёл на Северный Кавказ. Там жили родители моего отца, мои дедушка и бабушка — Семен Ефремович и Меланья Михайловна, и папина сестра Евдокия Семеновна. Они работали в колхозе, у них был приусадебный участок, и там можно было военные годы пережить. И это был расчет, безусловно, правильный.

Процесс эвакуации длился долго. Сначала нас подвезли на грузовиках до Финляндского вокзала, где мы сели в теплушки и доехали до станции на берегу Ладожского озера. Кажется, она называлась Борисова грива. Ночью нас погрузили на грузовики, и через час, а, может быть, и меньше, мы оказались уже на другом берегу, на станции Кабона. Там нам выдали хороший паек и посадили в эшелон, который повез нас уже на Северный Кавказ. Ехали мы целый месяц — понятно, что в условиях военного времени наш эшелон не принадлежал к числу первоочередных грузов.

В моей памяти остались два момента этого путешествия: остановка на станции Волховстрой — это был первый пункт, на котором эвакуированных кормили. Поразил об-

разцовый порядок организации — не было ни давки, ни толкучки, никто не рвался вперед — каждый получал свой паёк и отходил. И второй момент — наш путь пролегал по восточной части Европейской России — мы проезжали через Сталинград. Это было за долго до сражений, и тогда ещё никто и представить не мог, какую роль этот город сыграет в истории войны. Наконец, мы прибыли в Краснодарский край, в город Армавир, где нас продержали в порядке реабилитации примерно месяц. Расселили нас по частным квартирам, согласия хозяев, по-видимому, особо никто не спрашивал, а в условиях военного времени никто и не возражал. Через месяц мы прибыли в станицу Елизаветинская, где жили наши родственники.

Первой встречей со своей бабушкой я был немного ошарашен, поскольку мне ее речь была непонятна — на Кубани люди говорят на смеси русского и украинского языков, которую называют суржик. Но вскоре я освоился и все особенности местного говора понял. Моя мама, чтобы не быть нахлебницей у родителей отца, устроилась на работу в небольшой совхоз, который являлся подсобным хозяйством ипподрома. Сначала она была лаборантом, потом счетоводом.

Надо сказать, что мы попали, как говорят, из огня да в полымя — убежали от немцев из Ленинграда, но в августе 1942 года немцы оккупировали Краснодарский край. Правда, боев никаких в нашей станице не было, выглядело это так — одна армия ушла, пришла другая. Конечно, немецкие солдаты держались как завоеватели, но вели они себя достаточно цивилизованно, открыто мародерством не занимались. Об истинном лице оккупационной власти мы узнали потом, когда немцы ушли, и мы услышали рассказы о их дьявольском изобретении — автомобильных душегубках, использованных в Краснодаре.

Подготовила В. Садыкова, «НБС»